

















# „Не переводя дыхания“

СТАРШАЯ ПЕРВАЯ

Е. Троценко

Новый роман И. Эренбурга «Не переводя дыхания» теснейшим образом связан с предыдущим его романом. Это — продолжение и развитие некоторых существующих мотивов «Дня второго». Это реализация положительной программы «Дня второго». В «Дне втором» читатель получил тезисы этой программы. Новый роман написан уже целиком по этим тезисам.

Читатель помнит основной конфликт «Дня второго». Володя Сафонов, юноша, вузовец, выросший уже в советское время, несет в себе, однако, тяжелый наследственный груз. Он болен всеми болезнями интеллигентского индивидуализма. Он постоянно углублен в самого себя, сосредоточен на себе, постоянно в поисках себя, как существа избранного, душевно утонченного. Володя Сафонову противостоит масса, коллектив советской молодежи, рядовые ребята — Петя и Колька, в среде которых Володя Сафонов вынужден жить, и которых он не может ни понять, ни принять, как людей себе равных. «Нельзя разговаривать с колесами крапа, они способны потеть, как потеют люди. Но у них нет чувств, они передвигаются согласно плану», — пишет Володя в своем дневнике.

Как же отвечает Сафонову Эренбург? Он не отвечает ему прямо, непосредственно, он не спорит с ним. Он показывает наглядно на ряде примеров то, чего не понимает Володя, чего он не видит. Тотчас же вслед за записью Володы в дневнике: «Новое убеждение в том, что они неспособны разговаривать, они могут говорить только о практике, о зачетах, о столовых» — демонстрирует как раз обратное. Вот один из этих массовых эпизодов. Грива, говорит девушке: «Грива, я тоже думаю, что любовь — это предрасулук. А теперь я вижу — это вот здесь сидит. Шутками от этого не отделишься». Вот Петя и Розкоп, он грустит, девушка, которая ему нравится, оттолкнула его. Он читает стихи «Для берегов отчужденной далыни» и находит в этом отчаяние. Василь Смолин после посещения оперы «Евгений Онегин» «кажется, что его разбулила». Он говорит потом: «Я теперь на собраниях буду отсутствовать, чтобы ребята не видели на искусство».

Примеры эти можно было бы умножить, они рассыпаны по всей книге. Я не буду сейчас говорить о том, насколько они бедны и схематичны. Но во всяком случае ясно: Эренбург выставляет контраст: люди из массы способны в той личной душевной культуре, которой в избытке владеет Володя Сафонов. Эренбург стремится показать, как зарождается эта культура в массе.

Эренбург идет дальше. Он выбирает из этой массы рядовых ребят, из этих Петя и Колька одного Кольку и делает его своим героем, конструирует из него идеальную образ, чистую и простую душу, которую он противопоставляет сложной философии, прожитому насладению старой культуры с ее интровертностью, рефлексицией, субъективизмом. Эренбург ищет новых, живых истоков человека. Он хочет противопоставить «несчастному сознанию» Сафоновых радостное и счастливые бытие Ржавцовых. Сафонов — индивидуализм. Колька — человек из массы, человек коллектива. Внутренне он сам себя ничем из коллектива не выделяет, он чувствует себя в коллективе естественно, это его естественная среда. Эренбург очень подчеркивает этот момент. Эренбург понимает, что где-то по этой линии, по

линии, тесных и органических связей между личностью и коллективом надо искать «разгадку» нашего человека. Но отказавшись от индивидуальности, большой индивидуализма, он не умеет сконструировать новую индивидуальность. Он не умеет и боится выделить Кольку из коллектива. Он показывает лишь, как Колька слился с коллективом, но как же он оформляется как индивидуальность, как личность? Как открыть личное в этих рядах, в этом массивном рядовом человеке? Эренбург по сути дела и не открывает этого личного. Он приспосабливает им всем одинаковую абстракцию человеческого, он устанавливает, что эти люди наделены способностью чувствовать, ощущать, воспринимать, как это полагается человеку вообще. Вся эта молодежь, эти советские юноши и девушки, которых занимается теперь Эренбург, описаны им с большой симпатией, очень тепло. В манере выражения, в поведении, в словесках, жестах, в том, что касается внешних форм жизни, быта, он схватывает кое-что верное, очень на нашу жизнь похожее. Наша молодежь и письма пишет, и разговаривает похоже на то, как описывает Эренбург. Но над всеми ими у Эренбурга господствует некая средняя идеальная, все они подведены под нее. Все они — одинаково симпатичны и одинаково протестны — среди них нет ни умных, ни глупых, ни шутников, ни меланхоликов, ни тем более чудиков. Они все средние. Это идеальная «средняя линия». И Кольку Ржавцова, которого Эренбург художественно выдвигает, выбрал, он выбрал тоже не как отличного от других, не как особого, а как похожего на других, как представляющего всех других. А между тем ставил на Кольку сделана версера. Это, так сказать, благотворительный примитив, молодость не только биологическая, но юность человеческая, юность не испорченной интеллигентской души. Колька делает рад открытия. Вот его впечатления от искусства — они свежие, непосредственные, первозданные. Он слышит на каком-то вечере отрывок из Гоголя. «Колька услышал слова странные и необычные. Он знал эти слова. Он даже часто слышал их; логота, душа, пыль, грусть. Но никто не повторял этих слов в столь неожиданным и прекрасном сочетании. Казалось, что это написано на чужом языке. То же будет чувствовать и художник Кузьмин из романа «Не переводя дыхания» при посещении музея. «Когда он впервые увидел Рембрандта, что то внутри захлопнуло, и Кузьмин начал бессмысленно смеяться». В этом же духе переживает и интригованый выше вузовец, впервые услышавший оперу «Евгений Онегин», или юноша, которому открылись вдруг стихи Пушкина.

В романе «Не переводя дыхания» колхозники смотрят «Отец». Дездемона ищет актрису у которой не самостоятельная жизнь. Он ищет хорошо. «Поблагодарить пришла, — говорят потом колхозники. — Вы не понимаете, что мы без чувств. Мы понимаем, какая это красота. Все сидела, плакала». И Лидия Николаевна кажется потом, что неправильно судила этих людей и вспоминает, как она читала где-то, что в старину Шекспира смотрели вместе пацотухи и принцы и вместе плакали». Вся эта сцена чересчур трогательна. Эренбург иногда сбивается на сентиментальность, особенно это заметно в новом романе «Не переводя дыхания», но сейчас нас интересует другой смысл этой сцены. Простые и не

испорченные души воспринимают искусство цельно и непосредственно, сила первого впечатления, сила и свежесть не испытывают еще чувства, вот что подчеркивает постоянно Эренбург в наших людях, когда они сталкиваются с искусством. Философия чистой и простой души, открывающей в себе живые человеческие чувства, развита и в сфере любви. Колька Ржавцов рассуждает о любви с Ириной, — он прочитал Стендаля, он не может найти в нем истинных чувств. Люди, которых описывает Стендаль, не знали счастья, они не умели любить просто. Они ставили простоту чувств. Здесь снова то же противопоставление человека старого общества, с его чувствами, поточечными рефлексией, с его психологической усложненностью, — человека нового, человека простых и ясных чувств. В любовной истории Ирины и Кольки Ржавцова Эренбург и создает такую идеальную схему простого счастья двух любящих сердец.

Эта идеальная линия переходит в новый роман, выступающий уже как центральная тема. Варя и Мезенцев — это Ирина и Колька Ржавцов «Дня второго». Есть тут и еще кое-какие старые знакомцы, имеется тут Хрущевский, рабочий музея, спасший старую церковь, ближайший родственник библиотечника из «Дня второго», спасавшей книги. Имеется Голубев, старый коммунист, описанный так же, как и в «Дне втором». Шог на «Дне второго», а так же забывающий себя и свою болезнь в работе. В «Не переводя дыхания» нет того напряжения, что в «Дне втором», тут все смягчено, ослаблено, и об эти фигуры даны с меньшим напряжением. Голубев не умирает, Хрущевский чуть смеется. Рядом с Хрущевским, кроме того, выведена новая фигура, на которой мы должны остановиться подробнее. Это Кузьмин, художник из рабочих. Художник Кузьмин — это дальнейшее развитие темы искусства, как она была намечена в «Дне втором». И еще точнее, чем в «Дне втором», тема искусства переплетена тут с темой чувства, и с другой стороны — чувство как источник искусства. Кузьмина мучает картина, замысел, — он видел однажды, как сплывали хороники девушке. Была зашла в лесовую. «Со стороны — карнавал: река, гроб-то лежала в лодку, чем тебе не Венеция — Флаги, геронка: сплавщики канюки вал этой могилы означают работу и 1 августа». Значит и смеяться нет. Но вот для одного человека это была не просто уларина, но Маша или Шура. Если нет смерти, есть горе, рассуждает Кузьмин. А если сказать, что в жизни нет горя — это и есть настоящая смерть. Я хочу показать, что горе тоже наше, жизнь тогда становится жалкой». Все это рассуждение весьма важно для понимания основной темы романа — учиться чувствовать, помните о чувствах, не отказывайтесь от горя, горе — тоже чувство. Вся эта картина, этот замысел с философией страдания, которое «тоже наше», с абстрактной проповедью чувств, все это нам уже знакомо. Это тема Олени. «Для всех просто уларина, а для одного — Шура или Маша». Олена много бы дал за этот свет. Эренбург дает эту тему без называ, свойственного Олене, обременен, однако основа та же. Долгое время нашим людям отказывали в этой способности, теперь, наконец, выяснилось, что они тоже умеют чувствовать, и теперь их учат.

Кроме художника Кузьмина в «Не переводя дыхания» есть еще одна новая и тоже важная фигура. Это

комсомолец Генка. Он противопоставит Мезенцеву, как Сафонову противостоит Кольке в «Дне втором». Хотя это нечто совсем иное, чем Сафонов. Проблема та же: личность и коллектив. Но взята она совсем с другой стороны. Этот конфликт дается уже в самой комсомольской среде, а не вне ее, как было в Сафонове. Генка и аздалун и выположен крайне схематично, как бы то ни было. Генка тип активного индивидуалиста. Он стремится выделиться, прорваться в первые ряды. Он ослеплен честолюбивыми планами — он хочет стать вождем или знаменитым изобретателем, или поэтом, кем угодно, но только выделиться, не быть как все. И Генка срывается. Коллектив он рассматривает, как средство для достижения своих личных целей, и коллектив отворачивается от Генки. Эренбург особенно подчеркивает — Генка сухарь, Генка равнодушен к людям, Генка безразличен. В конце концов Генка разочаровывает не что иное, как любовь. Его полюбила девушка, умная и чуткая, Генка узнал цену человеческого чувства и Генка переродился. Все дело оказывается в чувствах — надо любить людей, любить друг друга, любить товарищей, такой вывод Генка. И такой вывод и поучение всей книги.

Та равнодушность индивидуализма, которую Эренбург представил в образе Генки, встречается, конечно, в нашей среде, однако проблема новой индивидуальности, развивающейся на пути индивидуализма, остается все же неразрешенной. Эренбург в конце концов слова сводит все к простому сравнению, к разграничению в коллективе, где все равно, все равно хорошие, добрые, простые, чуткие, честные, никто нигде не стремится, никто ничего не хочет. Именно такой Мезенцев. Описан он тепло. Он не как Генка, он способен любить и чувствовать, но оказывается надо еще сделать еще тоньше, быть еще сердечнее, отзывчивее. В этом смысле истории с Варей. Эта история центральная сюжет вещи. Варя — работница-уларина, но отец у нее кулак. Варя давно же не живет с ним, и она все же не решилась сказать об этом Мезенцеву в момент их любовного общения, когда Мезенцев спросил ее о родных. Мезенцев спрашивает об этом случайно. Никто из комсомольцев не обвиняет Варю. Варя действительно жила в городе у тетки. Но для Мезенцева это была драма. Он любит Варю и он мучается, потому же Варя не сказала ему. В самом этом конфликте, в его сюжете и обстоятельствах схвачено кое-что верное, живое. Описана вся эта история очень трогательно, в отношении Варя и Мезенцева есть много хорошего, симпатичного. Третья Варя Варина грустит на заплатах, когда она ушла от Мезенцева, и то, как готовился Мезенцев к встрече с Варей. Кое-то живое во всем этом есть. И вместе с тем нет во всем этом ни настоящего художественной глубины, ни настоящего содержания. Само чувство этих людей неинтересно, ибо нет у них характера и нет любви, как выражения характера. У Эренбурга нет даже и подхода к этому, Эренбург дает лишь несколько «живых картинок», положительную иллюстрацию той абстрактной проповеди чувства, отрицательной иллюстрацией которой может служить Генка. Если попытаться точнее определить стиль и жанр этой вещи, то можно сказать так: это пастораль с сентенцией. Весь роман по сути дела выдержан в духе сентиментализма.

«Обычные» старые вещи ЛЯШКО было то, что он избрал только страдания рабочего класса, только катурку (подчеркнуто в оригинале). Н. Л.). Примером И. Зелинский не мог привести, так как и никогда не избирал только страдания рабочего класса. И. ЗЕЛИНСКИЙ не знает много вещей, хуже того: он не знает книг, о которой решил говорить в День печати перед лицом писательской и издательской общественности и представителей фабрик, заводов и библиотек. Обойрив с оговорками эту книгу, он заявил:

«Но со стороны содержания есть ряд серьезных ошибок».

Чем подтвердил это К. Зелинский? 1. Он привел три цитаты, одну из которых, гретья, я не могу привести так: это пастораль с сентенцией. Весь роман по сути дела выдержан в духе сентиментализма.

«В походной сумке Тихонов, Сельвинский — Пастернак» — привели его к глубокой лирической поэзии мысли. Он создал поэмы «Последняя ночь» и «Человек предместия». В этих поэмах Баргирский достиг того качества, при котором поэзия мысли и чувства говорят в унисон, где оба понятия только дополняют друг друга, и где сама степень поэзии является причиной и последствием лирического единства мысли и чувства. Из этого должно быть ясно, что формула лирической мысли в поэзии вовсе не предполагает реставрацию философской лирики Баргирского, но отображение нашей действительности и художественное утверждение социальных проблем, возникающих сегодня. Поэзия мысли и поэзия чувства — такое подразделение сегодня звучит ошибочно.

Достоинство удавления, что некоторые товарищи не представляют себе «дождя» поэзии, это понятие, где на первом месте термит свою основную специфику. Подкрепление этого мнения находят они, должно быть, в большом количестве «расудочных» стихов, которые они путают с поэзией лирической мысли. Есть авторы, которые собственные неудачи объясняют необходимостью в стихах. Лирическое мышление само по себе является категорией художественности в стихе и представляет собой опыт объяснения реальности художественными образами.

Илья Чичавадзе, как бы отвечая Пушкинскому:

«Мы рождены для вдохновения, для снайков песен и молитв» — писал: «Но только для снайков звука прислало меня небо». Маяковский говорил: «Я уже словом не привык ласкаться». И тот и другой говорили не только о социальном значении поэзии, а о ее художественном значении. Оба поэта мелодичности стиха противопоставляли его гармоничности и многообразию пластических форм. Они были новаторами. Они создали сложные лексические формы, и этим самым весьма обогатили поэтическую речь.

Когда Баргирский пишет «Сергий» и «Белый Аратан», он дополняется более примитивной формой и выделенностью, но когда он берет такую глубокую тему, как «Пелас» и «Харед я храм», тут его мышление возвращается до лирических вершин, и его творчество характеризуется важной чертой: сложностью поэтической формы. Именно это делает Баргирского новатором грузинской поэзии в начале XIX в. Он вывел поэзию из области стихотворения эпитетического и эмпирического словесного материала, культурно-религиозного языка иранской поэзии. Баргирский был поэтом, который отделился от Кавказа на поэтическое творчество Минцверидзе и Гейне, оставаясь в то же время органически связанным со своей страной. Это помогло ему вывести грузинскую поэзию из тупика апулусской тематики и европеизировать грузинскую поэтический инструментарий. Вышедшая из фольклора поэзия часто снижает творческую мысль и возвращает нас назад, к уже пройденным этапам поэтической культуры. Поэзия, которой предстоит подыять социальные проблемы современности, безусловно должна приобрести к сложной стихотворной технике. Поэтому мы думаем, что поэты лирической мысли должны быть поэтами больших форм. Когда поэзия достигает лирической мысли, в ней рождается сюжет.

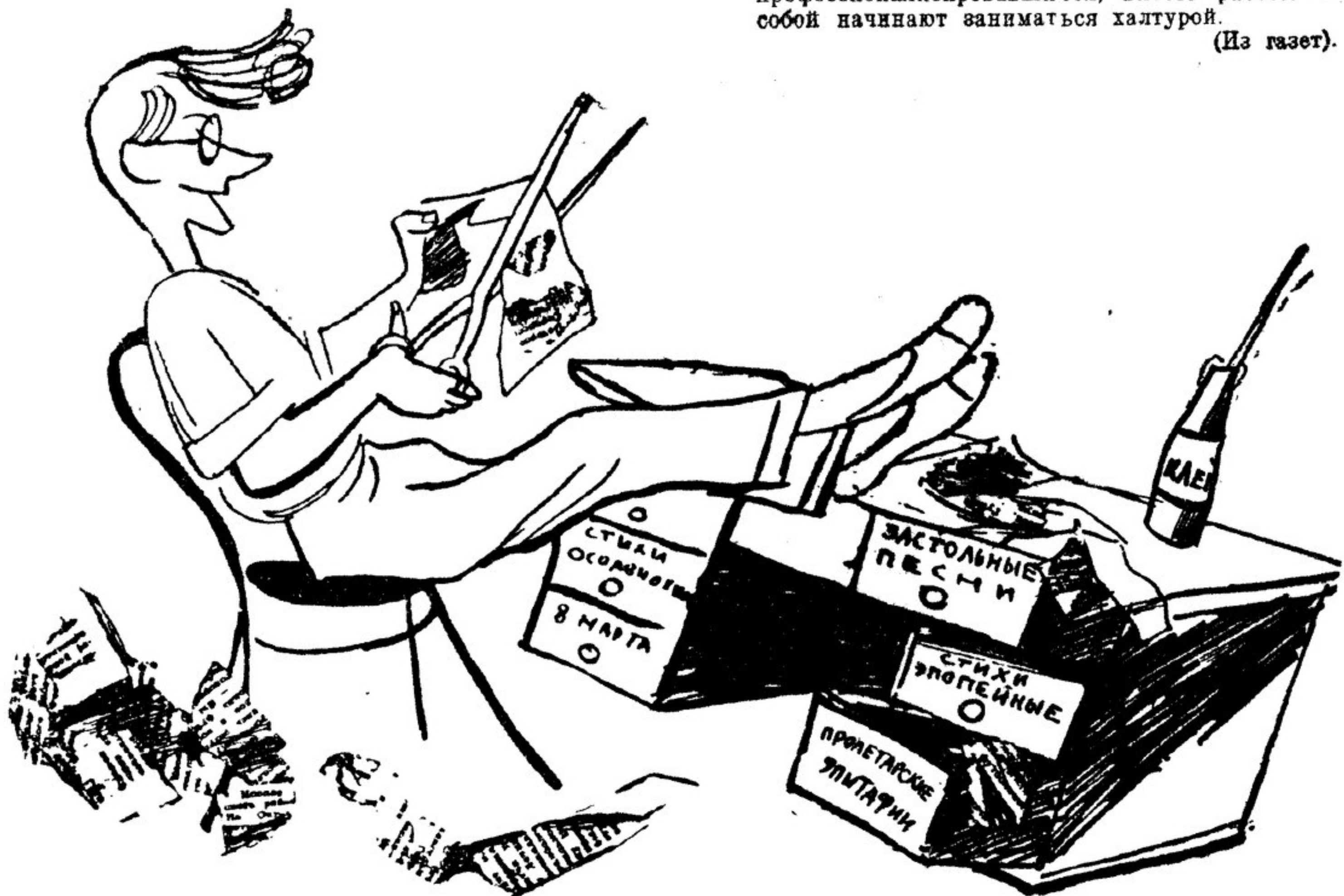
Сюжет не спускает описания фабулы и процессов производства. В песнях и стихотворных описаниях производственных процессов сюжета нет. Мысль от непосредственного художественного описания производственных процессов вынуждена выдвигаться и расширяться, только тогда рождается сюжет. Поэтому мы думаем, что нельзя противопоставлять поэзию мысли и сюжетную поэзию и, нам кажется, нельзя утверждать, что достижения сюжетной поэзии не входят в актив поэзии мысли, тем более, что современные эпические полотна создаются в результате развития лирики, и лирика в последнее время является как бы увертюрой поэтического эпоса.

Как плод лирического мышления воспринимаем мы пушкинскую поэму «Мелкий вальс». Тут же нельзя не вспомнить «Про это» Маяковского. Эта вещь, к сожалению, еще недостаточно оценена, открывает в советской поэзии цикл новых поэм. В этой поэме из лирики создается поэтический эпос, и лирический сюжет переносит в большую лирическую поэм. Может быть, кое-нибудь возразит, что тот же Маяковский написал от этого «Облако в штанах», но это возражение было бы необоснованным, ибо «Облако в штанах» — большое стихотворение, составленное из лирических кусочков; в нем нет педального лирического сюжета, который мы видим в поэме «Про это».

«Про это» — замечательная эпопея о биографии поэта, которая в то же время представляет биографию определенного слоя общества. То же можно сказать о поэмах Пастернака «Снежинки», Тихонова «Вина», о «Лирическом отступлении» Асеева и

некоторые молодые поэты, преждевременно профессионализировавшись, вместо работы над собой начинают заниматься катушкой. (Из газет).

Рис. Л. Бодаты



## НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ СУДЬЯ

В свете исторической речи т. Сталина о Крайних занятиях выступил в редактивных работах о добросовестном отношении к работам писателей. Читательскому активу, а через него миллионным читателям безразлично, насколько выписаны живые, вредные, неуместные представления о книгах писателей, и это ставит последние в зависимость от людей итис выкусов отдельных личностей. Писатели безразлично относятся к этому, а между тем тип беспринципного, способного на любую подлость, на любую громкую фразу «оценщика» литературных явлений все еще функционирует.

Я останавливаюсь лишь на одном совершенно свежем и ярком примере: Замещающая председателя группкома писателей Гослитиздата, а стоящая с стенограммой организованного группикомом качественного совещания, бывшего в Гослитиздате 5 мая 1935 г. — Дель печати. — И прочитав так огульное «слово» члена ЦСР, одного из членов редколлегии толстых журналов, критика Норниеля Зелинского о первой книге романа ЛЯШКО было то, что он избрал только страдания рабочего класса, только катурку (подчеркнуто в оригинале). Н. Л.).

Примером И. Зелинский не мог привести, так как и никогда не избирал только страдания рабочего класса. И. ЗЕЛИНСКИЙ не знает много вещей, хуже того: он не знает книг, о которой решил говорить в День печати перед лицом писательской и издательской общественности и представителей фабрик, заводов и библиотек. Обойрив с оговорками эту книгу, он заявил:

«Но со стороны содержания есть ряд серьезных ошибок».

Чем подтвердил это К. Зелинский? 1. Он привел три цитаты, одну из которых, гретья, я не могу привести так: это пастораль с сентенцией. Весь роман по сути дела выдержан в духе сентиментализма.

«В походной сумке Тихонов, Сельвинский — Пастернак» — привели его к глубокой лирической поэзии мысли. Он создал поэмы «Последняя ночь» и «Человек предместия». В этих поэмах Баргирский достиг того качества, при котором поэзия мысли и чувства говорят в унисон, где оба понятия только дополняют друг друга, и где сама степень поэзии является причиной и последствием лирического единства мысли и чувства. Из этого должно быть ясно, что формула лирической мысли в поэзии вовсе не предполагает реставрацию философской лирики Баргирского, но отображение нашей действительности и художественное утверждение социальных проблем, возникающих сегодня. Поэзия мысли и поэзия чувства — такое подразделение сегодня звучит ошибочно.

Достоинство удавления, что некоторые товарищи не представляют себе «дождя» поэзии, это понятие, где на первом месте термит свою основную специфику. Подкрепление этого мнения находят они, должно быть, в большом количестве «расудочных» стихов, которые они путают с поэзией лирической мысли. Есть авторы, которые собственные неудачи объясняют необходимостью в стихах. Лирическое мышление само по себе является категорией художественности в стихе и представляет собой опыт объяснения реальности художественными образами.

Илья Чичавадзе, как бы отвечая Пушкинскому:

«Мы рождены для вдохновения, для снайков песен и молитв» — писал: «Но только для снайков звука прислало меня небо». Маяковский говорил: «Я уже словом не привык ласкаться». И тот и другой говорили не только о социальном значении поэзии, а о ее художественном значении. Оба поэта мелодичности стиха противопоставляли его гармоничности и многообразию пластических форм. Они были новаторами. Они создали сложные лексические формы, и этим самым весьма обогатили поэтическую речь.

Когда Баргирский пишет «Сергий» и «Белый Аратан», он дополняется более примитивной формой и выделенностью, но когда он берет такую глубокую тему, как «Пелас» и «Харед я храм», тут его мышление возвращается до лирических вершин, и его творчество характеризуется важной чертой: сложностью поэтической формы. Именно это делает Баргирского новатором грузинской поэзии в начале XIX в. Он вывел поэзию из области стихотворения эпитетического и эмпирического словесного материала, культурно-религиозного языка иранской поэзии. Баргирский был поэтом, который отделился от Кавказа на поэтическое творчество Минцверидзе и Гейне, оставаясь в то же время органически связанным со своей страной. Это помогло ему вывести грузинскую поэзию из тупика апулусской тематики и европеизировать грузинскую поэтический инструментарий. Вышедшая из фольклора поэзия часто снижает творческую мысль и возвращает нас назад, к уже пройденным этапам поэтической культуры. Поэзия, которой предстоит подыять социальные проблемы современности, безусловно должна приобрести к сложной стихотворной технике. Поэтому мы думаем, что поэты лирической мысли должны быть поэтами больших форм. Когда поэзия достигает лирической мысли, в ней рождается сюжет.

Сюжет не спускает описания фабулы и процессов производства. В песнях и стихотворных описаниях производственных процессов сюжета нет. Мысль от непосредственного художественного описания производственных процессов вынуждена выдвигаться и расширяться, только тогда рождается сюжет. Поэтому мы думаем, что нельзя противопоставлять поэзию мысли и сюжетную поэзию и, нам кажется, нельзя утверждать, что достижения сюжетной поэзии не входят в актив поэзии мысли, тем более, что современные эпические полотна создаются в результате развития лирики, и лирика в последнее время является как бы увертюрой поэтического эпоса.

и, не зная эпохи и материала романа, не освоив даже его фабулы, публикую вступую натоворил страшных слов о ряде серьезных ошибок, выдумал сапожку кухарку-мужчину, цыкнув на редактора — и готово. Спрашивается: могло ли это фантастическое «вешанье» о книге появиться за подписью самого И. Зелинского или в чем-либо изложенная на страницах газет и журналов? Могло. А могло ли появиться такое же «вешанье» о работе какого-либо завода, фабрики? Нет, не могло.

Хлесткие «вешанья» о работах писателей искажают одну из сторон нашей действительности и плодят идеи о том, что посредством умелого обожжения авторов с «вешаньями» можно даже плохой работу сделать хорошей погоду, а хорошую работу замочить или охладить. Завода о писательских кадрах есть борьба за полный разворот творческих сил этих кадров на строительство социализма и борьба за устранение всего, что мешает этому развороту! Подчеркиваю: «вешанья» безаканно и лживо охватывают на публичных собраниях, о чем ЦСР не стыдно ити в люди, т. е. к рабочим и колхозникам! В партии, в профсоюз, в производственных объединениях любители такого рода «вешанья» вряд ли называли бы критиками, редакторами и т. д., а в литературе они будут лишь потому, что Правление ЦСР практически еще не успело превратить устава ЦСР в документ, противоречить которому нельзя.

Я предлагаю заботы о писательских кадрах в духе речи т. Сталина скрепить правилом: 1) недобросовестная работа члена ЦСР вест последнего за порог организации, 2) мотивированные решения правления ЦСР о недобросовестной работе членов ЦСР предлагаются газетам.

Верю, что правление ЦСР обсудит мое предложение, а писатели и редакторы не будут жаловаться на работу оценщиков литературных явлений, ибо должно быть на высоте передовой теории и социалистической этики!

Н. ЛЯШКО

## ЛИРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ И ЛИРИЧЕСКИЙ НАПЕВ

Симон Чиковани

Магистральная линия советской поэзии в одинаковом свете представляется в Москве и в Тифлисе. Вопросы, возникающие в русской поэзии, корреспондируют с вопросами грузинской литературы, и грузинская литературная пресса широко освещает эти вопросы.

Недавно «Литературная газета» печатала статью Д. Мирского о поэзии, которые вывели выступления в печати т. Сурикова, Брауна и др. Лирические поэты повсюду снискавшие популярность, появились в выставочных залах т. Мирского.

Поэт по назиданию был вопросом поэта перед грузинской литературной общественностью, и после этого не было ни одной литературной дискуссии, в которых они вновь не вспоминали бы. Это обстоятельство еще раз доказывает, насколько близки и родственны литературы и интересы литературы народов, входящих в Союз социалистических республик.

Это обмывает нас по-другому приходить в будущем за организацию поэтических совещаний. На поэтические совещания должен быть обещан нерв, связующий разнообразные поэзии, должны быть поставлены волнующие вопросы, и как можно яснее должно быть освещено место поэзии в современном обществе.

Большой интерес представляет вопрос лирической мысли и лирического напева и поэзии. Существуют ли вообще такие «разделка» в поэзии?

Еще Руставели определял стихотворство как отрасль мудрости, он же отмечал существование другого вида поэзии — приятного для слуха и пригодного для размышлений. Руставели отдавал предпочтение «поэму-мудрецу». Он полагал, что только такую поэму по силам поднять и разрешить большие социальные проблемы в сложной художественной форме. Итак, Руставели еще несколько веков назад различал поэтов лирической мысли и поэтов лирического напева.

В поэзии лирической мысли основная идея лирической мысли, а внутренняя структура стиха создается так называемый стихотворный сюжет. В другом же случае стих развивается на основе лирического напева, т. е. сюжет создается посредством темы и лирического напева.

Каждая эпоха имеет своих поэтов лирической мысли и лирического напева. Первые художественными образами разрешают социальные проблемы и объясняют мир, второе, не объясняя, воспевает его. Так на самом близком расстоянии стоит друг против друга Тютчев и Фет. Тютчев был

поэтом лирической мысли, а Фет — «снежок». И эти два замечательных поэта подтверждают «формулу подразделения» Руставели.

Нико Бараташвили был чистейшим проявлением поэзии лирической мысли. Прозное и современное были для него объектами лирического мышления. На прошлое он смотрел как на проблему, требующую поэтического комментария. В 30 стихотворных он написал историю молодого человека начала XIX столетия. Александр Чавчавадзе был романтиком, так же, как Бараташвили, но прошлое Грузии было для него не проблемой, а темой для стихотворного мотива. Бараташвили в своих «обаях» прощались в Грузии, он утверждал, что это великий поэтический талант и интереснейший человек. Так расхолился Бараташвили и Ал. Чавчавадзе, — поэты одной школы; так по-разному раскрывали они тему, воздущую их класс.

Пушкин называл Бараташвили ориентальным поэтом, потому что он признавал в нем своеобразия мысли. В этом признании Пушкина мы видим обобщение поэтических впечатлений самого Пушкина.

Пушкин и Бараташвили дали биографию человека своей эпохи. Фет и Ал. Чавчавадзе, подвигая эпоху радиусом «своего времени», спели ему поэтические псалмы и тем самым обобщили социальную проблему эпохального значения.

Пристальный взгляд обнаружит наличие этих двух линий на всем протяжении истории советской поэзии. Нужно тут же отметить, что наша величайшая действительность оживленно увлекает поэта лирической мысли и поэта лирического напева и делает их интуитивно равными достоинства. Лирическая мысль в советской поэзии представляет поэты разных направлений и оттенков. То, что поэтам лирической мысли является Владимир Маяковский. Борис Пастернак, Ник. Тихонов, И. Сельвинский, М. Вайсман, поэты во многом, если не во всем, отличающиеся друг от друга, подтверждают это положение. Голы советской поэзии отмечены новыми поэтическими формами и формулами этих людей. Некоторые из них сумели соединить это с передовыми социальными идеями. Наша действительность требует не только воспоминания эпохи, но и художественного обобщения и утверждения.

Поэты лирического напева дают



